

Леонид Николаевич Андреев

Тьма

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Леонид Николаевич Андреев

Тьма / Леонид Николаевич Андреев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 40 с.

ISBN 978-5-4241-2630-7

Леонид Андреев - один из величайших русских писателей Серебряного века, создавший ряд в равной степени значительных произведений как в реалистической, так и в символической прозе.

ISBN 978-5-4241-2630-7

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Леонид Андреев
Тьма

I

Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними — ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая-то случайность, одна из тех маленьких случайностей, которых нельзя предусмотреть, навела на его следы полицию, и вот теперь, уже двое суток, за ним, известным террористом, бомбометателем, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его в тесный замкнутый круг. Одна за другою были отрезаны от него конспиративные квартиры, где он мог бы укрыться; оставались еще свободными некоторые улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость от двухсуточной бессонницы и крайней напряженности внимания представляла новую опасность: он мог заснуть где-нибудь на бульварной скамейке, или даже на извозчике, и самым нелепым образом, как пьяный, попасть в участок. Это было во вторник. В четверг же, через один только день, предстояло совершение очень крупного террористического акта. Подготовкою к убийству в течение продолжительного времени была занята вся их небольшая организация, и «честь» бросить последнюю решительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продержаться во что бы то ни стало.

И вот тогда, октябрьским вечером, стоя на перекрестке двух людных улиц, он решил поехать в этот дом терпимости в — ом переулке. Он уже и раньше прибежал бы к этому не совсем, впрочем, надежному средству, если бы не некоторое осложняющее обстоятельство: в свои двадцать шесть лет он был девственником, совсем не знал женщин как таковых, и никогда не бывал в публичных домах. Когда-то в свое время ему пришлось выдержать тяжелую и трудную борьбу с бунтующей плотью, но постепенно воздержание перешло в привычку, и выработалось спокойное, совершенно безразличное отношение к женщине. И теперь, поставленный в необходимость так близко столкнуться с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, быть может, увидеть ее голою — он почувствовал целый ряд своеобразных и чрезвычайно неприятных неловкостей. В крайнем случае, если это окажется необходимым, он решил сойтись с проституткой, так как теперь, когда плоть уже давно не бунтовала и предстоял такой важный и огромный шаг, — девственность и борьба за нее теряли свою цену. Но во всяком случае это было неприятно, как бывает иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, через которую необходимо перейти. Однажды, при совершении важного террористического акта, при котором он находился в качестве запасного метальщика, он видел убитую лошадь с изорванным задом и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущение в своем роде даже более неприятное, чем смерть товарища от брошенной бомбы. И насколько спокойно, бестрепетно и даже радостно представлял он себе четверг, когда и ему придется, вероятно, умереть, — настоль-

ко предстоящая ночь с проституткой, с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, казалась ему нелепой, полной чего-то бестолкового, воплощением маленького, сумбурного, грязноватого хаоса.

II

Но другого выбора не было. И он уже шатался от усталости.

Было еще совсем рано, когда он приехал, около десяти часов, но большая белая зала с золочеными стульями и зеркалами была готова к принятию гостей, и все огни горели. Возле фортепиано с поднятой крышкой сидел тапер, молодой, очень приличный человек в черном сюртуке, — дом был из дорогих, — курил, осторожно сбрасывая пепел с папиросы, чтобы не запачкать платье, и перебирал ноты; и в углу, ближнем к полутемной гостиной, на трех стульях подряд, сидели три девушки и о чем-то тихо разговаривали.

Когда он вошел с хозяйкой, две девушки встали, а третья осталась сидеть; и те, которые встали, были сильно декольтированы, а на сидевшей было глухое черное платье. И те две смотрели на него прямо, с равнодушным и усталым вызовом, а эта отвернулась, и профиль у нее был простой и спокойный, как у всякой порядочной девушки, которая задумалась. Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что она не смотрела на него, и потому, что у нее только одной был вид порядочной женщины, — он выбрал ее. Он никогда раньше не бывал в домах терпимости и не знал, что в каждом хорошо поставленном доме есть одна, даже две такие женщины: одеты они бывают в черное, как монахини или молодые вдовы, лица у них бледные, без румян и даже строгие; и задача их — давать иллюзию порядочности тем, кто ее ищет. Но, когда они уходят в спальню с мужчинами и там напиваются, они становятся как и все, иногда даже хуже: часто скандалят и колотят посуду, иногда пляшут, раздевшись голыми, и так голыми выскакивают в зал, а иногда даже бьют слишком назойливых мужчин. Это как раз те женщины, в которых влюбляются пьяные студенты и уговаривают начать новую, честную жизнь.

Но он этого не знал. И когда она поднялась нехотя и хмуро, с неудовольствием взглянула на него подведенными глазами и как-то особенно резко мелькнула бледным, матово-бледным лицом, — он еще раз подумал: «какая она порядочная, однако!» — и почувствовал облегчение. Но, продолжая то вечное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и делало ее похожею на сцену, он качнулся как-то очень фатовски на ногах, с носков на каблуки, щелкнул пальцами и сказал девушке развязным голосом опытного развратника:

— Ну как, моя цыпочка? Пойдем к тебе? а? Где тут твоё гнездышко?

— Сейчас? — удивилась девушка и подняла брови.

Он засмеялся игриво, открыв ровные, сплошные, крепкие зубы, густо покраснел и ответил:

— Конечно. Чего же нам терять драгоценное время?

— Тут музыка будет. Танцевать будем.

— Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верчение, ловля самого себя за хвост. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

— Немного слышно.

Он начинал ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь

выбритое; щеки и узкая полоска над твердыми, четко обрисованными губами слегка синели, как это бывает у очень черноволосых бреющихся людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взгляде их было что-то слишком неподвижное, и ворочались они в своих орбитах медленно и тяжело, точно каждый раз проходили очень большое расстояние. Но, хотя и бритый и очень развязный, на актера он не был похож, а скорее на обрусевшего иностранца, на англичанина.

— Ты не немец? — спросила девушка.

— Немножко. Скорее англичанин. Ты любишь англичан?

— А как хорошо говоришь по-русски. Совсем незаметно.

Он вспомнил свой английский паспорт, тот коверканый язык, которым говорил все последнее время, и то, что теперь забыл притвориться как следует, и снова покраснел. И, уже нахмурившись несколько, с сухой деловитостью, в которой чувствовалось утомление, взял девушку под локоть и быстро повел.

— Я русский, русский. Ну, куда идти? Показывай. Сюда?

В большом, до полу, зеркале резко и четко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, широкоплечий, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался под верхним светом электрической люстры его упрямый лоб и твердые выпуклости щек; а вместо глаз и у него и у девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная, строгая пара среди белых стен, в широкой, золоченой раме зеркала, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости соображал он плохо, и мысли были неожиданные, нелепые; потому что в следующую минуту, взглянув на черную, строгую, траурную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было одинаково неприятно.

По-видимому, и девушке передалось его чувство: также молча, с удивлением она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не ответило на это легкое движение и все также тяжело и упорно продолжало вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это девушке красивым, или напомнило что-нибудь свое, немного грустное, — она улыбнулась тихо и слегка пожалала его твердо согнутую руку.

— Какая парочка! — сказала она задумчиво, и почему-то сразу стали заметнее ее большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами.

Но он не ответил и решительно пошел дальше, увлекая девушку, четко постукивавшую по паркету высокими французскими каблуками. Был коридор, как всегда, темные, неглубокие комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: «Люба», — они вошли.

— Ну, вот что, Люба, — сказал он, оглядываясь и привычным жестом потирая руки одна о другую, как будто старательно мыл их в холодной воде, — надобно вина и еще чего там? Фруктов, что ли.

— Фрукты у нас дороги.

— Это ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей «вы», и хотя заметил это, но поправляться не стал: было что-то в недавнем ее пожатии, после чего не хотелось говорить «ты», любезничать и притворяться. И это чувство также как будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедлив, ответила с нерешительностью в голосе, но не в смысле произносимых слов:

— Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока. Вам хватит?

И она говорила теперь «вы», и в тоне, каким произносила это слово, звучала все та же нерешительность, легкое колебание, вопрос. Но он не обратил на это внимания и, оставшись один, принялся за быстрый и всесторонний осмотр комнаты. Попробовал, как запирается дверь, — она запиралась хорошо, крючком и на ключ; подошел к окну, раскрыл обе рамы — высоко, на третьем этаже, и выходит во двор. Сморщил нос и покачал головою. Потом сделал опыт над светом: две лампочки, и когда гаснет вверху одна, зажигается другая у кровати с красным колпачком — как в приличных отелях.

Но кровать!..

Поднял высоко плечи — и оскалился, делая вид, что смеется, но не смеясь, с той потребностью двигать и играть лицом, какая бывает у людей скрытных и почему-либо таящихся, когда они остаются наконец одни.

Но кровать!

Обошел ее, потрогал ватное стеганое, откинутое одеяло и с внезапным желанием созорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривил голову, выпятил вперед губы и вытаращил глаза, выражая этим высшую степень изумления. Но тотчас же сделался серьезен, сел и утомленно стал поджидать Любу. Хотел думать о четверге, о том, что он сейчас в доме терпимости, уже в доме терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи друг друга. Это начинал раздражаться обиженный сон: такой мягкий там, на улице, теперь он не гладил ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. Вдруг начал зевать, истово, до слез. Вынул браунинг, три запасные обоймы с патронами, и со злостью подул в ствол, как в ключ — все было в порядке, и нестерпимо хотелось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему-то Люба, он запер дверь — сперва только на один крючок, и сказал:

— Ну вот что... вы пейте, Люба. Пожалуйста.

— А вы? — удивилась девушка и искоса, быстро взглянула на него.

— Я потом. Я, видите ли, я две ночи кутил и не спал совсем, и теперь... — Он страшно зевнул, выворачивая челюсти.

— Ну?

— Я скоро. Я один только часок... Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стесняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы так мало взяли?

— А в зал мне можно пойти? Там скоро музыка будет.

Это было неудобно. О нем, о странном посетителе, который улегся спать, начнут говорить, догадываться, — это было неудобно. И, легко сдержав зевоту, которая уже сводила челюсти, попросил сдержанно и серьезно:

— Нет, Люба, я попрошу вас остаться здесь. Я, видите ли, очень не люблю спать в комнате один. Конечно, это прихоть, но вы извините меня...

— Нет, отчего же. Раз вы деньги заплатили...

— Да, да, — покраснел он в третий раз. — Конечно. Но не в этом дело. И... Если вы хотите... Вы тоже можете лечь. Я оставлю вам место. Только, пожалуйста, вы уже лягте к стене. Вам это ничего?

— Нет, я спать не хочу... Я так посижу.

— Почитайте что-нибудь.

— Здесь книг нету.

— Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вот. Тут есть кое-что интересное.

— Нет, не хочу.

— Ну, как хотите, вам виднее. А я, если позволите...

И он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил странного взгляда, каким девушка провожала его. И вообще весь этот вежливый, пристойный разговор, такой дикий в несчастном месте, где самый воздух мутно густел от винных испарений и ругательств, — казался ему совершенно естественным, и простым, и вполне убедительным. Все с тою же вежливостью, точно где-нибудь на лодке, при катанье с барышнями, он слегка раздвинул борты сюртука и спросил:

— Вы мне позволите снять сюртук?

Девушка слегка нахмурилась.

— Пожалуйста. Ведь вы... — Но не договорила — что.

— И жилетку? Очень узкая.

Девушка не ответила и незаметно пожала плечами.

— Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их у себя.

— Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

— Зачем это? — Но взглянул на девушку и смущенно отвел глаза. — Ах, да, да. Ну, пустяки какие.

— А вы знаете, сколько здесь у вас денег? А то некоторые не знают, а потом...

— Знаю, знаю. И охота вам...

И лег, вежливо оставив одно место у стены. И восхищенный сон, широко улыбувшись, приложился шерстистой щекою своею к его щеке — одной, другою — обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих, положив мягкую, пушистую голову на его грудь. Он засмеялся.

— Чего вы смеетесь? — неохотно улыбнулась девушка.

— Так. Хорошо очень. Какие у вас мягкие подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

— А мне можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидеть-то долго придется. — В ее голосе звучала легкая усмешка. Но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: «Конечно, пожалуйста!» — серьезно и просто пояснила:

— У меня корсет очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

— Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что бессонница так путала мысли его, оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен — и это «можно» показалось ему естественным в доме, где было все позволено и никто ни у кого не просил разрешения.

Слышно было, как хрустел шелк и потрескивали расстегиваемые кнопки. Потом вопрос:

— Вы не писатель?

— Что? Писатель? Нет, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

— Нет. Не люблю.

— Отчего же? Они люди... — он сладко и продолжительно зевнул, — ничего себе.

— А как вас зовут?

Молчание и сонный ответ:

— Зовите меня И... нет, Петром. Петр.

И еще вопрос:

— А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала девушка тихо, но сторожко и твердо, и было такое впечатление от ее голоса, будто она сразу, вся, придвинулась к лежащему. Но он уже не слышал ее, он засыпал. Вспыхнула на мгновение угасающая мысль и в одной картине, где время и пространство слились в одну пеструю грудю теней, мрака и света, движения и покоя, людей и бесконечных улиц и бесконечно вертящихся колес, вычертила все эти два дня и две ночи бешеной погони. И вдруг все это затихло, потускнело, провалилось — и в мягком полусвете, в глубочайшей тишине представился один из залов картинной галереи, где вчера он на целых два часа нашел покой от сыщиков. Будто сидит он на красном бархатном, необыкновенно мягком диване и смотрит неподвижно на какую-то большую черную картину; и такой покой идет от этой старой, потрескавшейся картины, и так отдыхают глаза, и так мягко становится мыслям, что на несколько минут, уже засыпающий, он начал противиться сну, смутно испугался его, как неизвестного беспокойства.

Но заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками, и он подумал: «теперь можно спать» — и сразу крепко уснул. Торжествуя взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо — и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глубину.

Так спал он и час и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где ключ и револьвер. А она, девушка с обнаженными руками и шеей, сидела напротив, курила, пила неторопливо коньяк и глядела на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядеть, она вытягивала тонкую, гибкую шею, и вместе с этим движением у кончиков губ ее вырастали две глубокие, напряженные складки. Верхнюю лампочку он забыл погасить, и при сильном свете ее был ни молодой ни старый, ни чужой ни близкий, а весь какой-то неизвестный: неизвестные щеки, неизвестный нос, загнутый клювом, как у птицы, неизвестное ровное, крепкое, сильное дыхание. Густые черные волосы на голове были острижены коротко, по-солдатски; и на левом виске, ближе к глазу, был небольшой побелевший шрам от какого-то старого ушиба. Креста на шее у него не было.

Музыка в зале то замирала, то вновь разражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног, а она все сидела, курила папиросы и разглядывала спящего. Внимательно, вытянув шею, рассмотрела его левую руку, лежавшую на груди: очень широкая в ладони, с крупными пальцами — на груди она производила впечатление тяжести, чего-то давящего больно; и осторожным движением девушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потом встала быстро и шумно, и с силою, точно желая сломать рожок, погасила верхний свет и зажгла нижний, под красным колпачком.

Но он и в этот раз не пошевелился, и все тем же неизвестным, пугающим своей неподвижностью и покоем осталось его порозовевшее лицо. И, отвернувшись, охватив колена голыми, нежно розовеющими руками, девушка закинула голову и неподвижно уставилась в потолок черными провалами немигающих глаз. И в зубах ее, стиснутая крепко, застыла недокуренная потухшая папироса.

III

Что-то произошло неожиданное и грозное. Что-то большое и важное случилось, пока он спал, — он понял это сразу, еще не проснувшись как следует, при первых же звуках незнакомого, хриплого голоса, понял тем изоощренным чутьем опасности, которое у него и его товарищей составляло как бы особое, новое чувство. Быстро спустил ноги и сел, и уже крепко сжал рукою револьвер, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туман. И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! Посмотрел пристальнее, передохнул глубоко и поправился: еще не выдала, но выдаст.

Плохо!

Вздыхнул еще и коротко спросил:

— Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрела на него и молчала — будто уже считала его своим и, не торопясь, никуда не спеша, хотела насладиться своею властью.

— Ты что сказала сейчас? — повторил он, нахмурившись.

— Что я сказала? Вставай, я сказала, вот что. Будет. Поспал. Будет. Пора и честь знать. Тут не ночлежка, миленький!

— Зажги лампочку! — приказал он.

— Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под белым светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза и рот, сжатый ненавистью и презрением. И голые руки увидел. И всю ее, чуждую, решительную, на что-то бесповоротно готовую. Отвратительной показала ему эта проститутка.

— Что с тобою — ты пьяна? — спросил он серьезно и беспокойно и протянул руку к своему высокому крахмальному воротничку. Но она предупредила его движение, схватила воротничок и, не глядя, бросила куда-то в угол, за комод.

— Не дам!

— Это еще что? — сдержанно крикнул он и стиснул ее руку твердым, крепким, круглым, как железное кольцо, пожатием, и тонкая рука бессильно распростерла пальцы.

— Пусти, больно! — сказала девушка, и он сжал слабее, но руки не выпустил.

— Ты смотри!

— А что, миленький? Застрелить меня хочешь, да? Это что у тебя в кармане, — револьвер? Что же, застрели, застрели, посмотрю я, как это ты меня застрелишь. Как же, скажите, пожалуйста, пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Стриженный, бритый, так никто, думает, не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь?

Она засмеялась громко и весело — и действительно он с ужасом увидел это: на ее лице была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила с ума. И от мысли, что все погубило так нелепо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убийство и все-таки, вероятно, погибнуть — стало еще ужаснее. Со всем белым, но все еще с виду спокойный, все еще решительный, он смотрел на нее, следил за каждым движением и словом и соображал.